

К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ ПУШКИНА К РЕЛИГИИ.

Был ли религиозен Пушкин?

Вопрос этот, потому что он касается именно Пушкина, представляет особые трудности, и подходить к нему нужно особенно осторожно. Нужно помнить, что в жизни Пушкин часто носил маску, старался казаться не тем, чем был на самом деле.

Об этом свидетельствует прежде всего он сам. Образ Чарского— автопортрет. Чарский «прикидывался то страстным охотником до лошадей, то отчаянным игроком, то самым тонким гастрономом», боясь больше всего казаться тем, чем был—поэтом. Передавая анекдот о Байроне, Пушкин говорит: «как судить о свойствах и образе мыслей человека по наружным его действиям? Он может по произволу надевать на себя притворную личину порочности, как и добродетели, часто по какому-либо своенравному убеждению ума своего, он может выставлять на позор толпе не самую лучшую сторону своего нравственного бытия; часто может бросать пыль в глаза черни одними своими странностями».

Уже Анненков рассматривал эти строки, как сказанные pro domo sua. Странности поведения Пушкина, особенно на юге, рисовка порочностью, подтверждают это. Даже барон Корф, стараясь всячески очернить Пушкина, невольно для себя говорит, что он был лучше, чем старался казаться. «Не сомневаюсь, что для едкого слова он иногда говорил даже более и хуже, нежели в самом деле думал и чувствовал»¹⁾.

А. П. Керн рассказывает в письме Анненкову, что, когда Анна Николаевна Вульф поздравила Пушкина с неожиданною в нем спо-

¹⁾ К. Я. Грот., Пушкинский Лицей, Спб. 1911 г., 250 стр.

способностью вести себя, как прилично любящему мужу, Пушкин ответил: «ce n'est que de l'hypocrisie».

«Вот... выражение века: непременно во что бы то ни стало казаться хуже, чем он был»—прибавляет А. П. Керн ¹⁾. Что Пушкин был скрытен, известно из свидетельств его лицейских товарищей.

Все это заставляет относиться с осторожностью к свидетельствам о нем других. Но и высказывания самого Пушкина требуют в отношении к ним не меньшей осторожности. Иначе мы рискуем принять за Wahrheit то, что только Dichtung.

I

В 1831 году, составляя программу записок, Пушкин отметил под 1811 г.: «(Лицей)... Философич. мысли». Что должен был он сообщить под этой рубрикой? Может быть, Пушкин хотел отметить свое раннее умственное развитие? К философии, как таковой, он в лицейский период не был склонен (да и не только в лицейский). Вспомним не очень почтительные эпитеты философов в «Пирующих студентах» (1814 г.) и слова о них в «Послании к Лице» (1816 г.). Кроме того, в 1811 г. (если Пушкин не ошибается) он едва ли мог быть знаком с философией. Очевидно, Пушкин хотел говорить о своих мыслях на философские темы.

Пушкин — мальчик был старше своих лет. «Когда ему было восемнадцать лет, он думал, как тридцатилетний человек: ум его созрел раньше, чем его характер», позже говорил Жуковский Гоголю (по свидетельству Смирновой).

Лицейские стихотворения затрагивают основные вопросы человеческого существования, вопросы жизни и смерти, назначения человека. Над последним вопросом в применении к себе Пушкин особенно часто задумывался. Уже рано, «нежным отроком», он почувствовал, что назначение его — поэзия:

Поэтов грешный лик
Умножил я собою (I, 40) ²⁾.

¹⁾ Пушкин и его современники, вып. V, стр. 151.

²⁾ Ссылки приводятся по изданию Брокгауза-Ефрона под ред. С. А. Венгерова, причем римские цифры означают том, арабские — номер произведения.

И он высказал это в характерных для себя образах:

Мой гений невидимкой
Летает надо мной. (I. 31.)
Мне богини песнопенья
Еще в младенческую грудь
Влияли искру вдохновенья. (I. 133.)

Муза «на слабом утре дней златых» (I. 49.) осенила певца

И горним светом озарясь,
Влетала в скромну келью,
И чуть дышала, преклонясь
Над детской колыбелью. (Там же.)

Пушкин проявляет то большую скромность в мнении о себе:

В лиру превращать не смею
Мое гусиное перо. (I. 48.),

то сомневается в своем даре [Послание к кн. А. М. Горчакову, Любовь одна веселье жизни хладной, Уныние (Разлука), Элегия (Опять я ваш), Шишкову (1816 г.), Дельвигу (1817 г.)]. Но доминирует у него непосредственное сознание своего гения. «Я — питомец важных муз» (I. 229). «Питомец муз и вдохновенья» (I. 58). «Мне жребий вынул Феб—и лира мой удел». (I. 143.)

И это серьезно. Он только «сначала... шалил, шутя стихи кроил» (I. 40). Теперь он называет себя поэтом, зная, что еще «не тот поэт, кто рифмы плесть умеет» (I. 12.), что для этого нужно еще что-то, что он называет «печатью Аполлона». И он надеется, что и ему

Печать свою наложит
Небесный Аполлон. (I. 31.)

Этот полученный свыше дар имеет высокое назначение:

Рази, осмеивай порок;
Шутя, показывай смешное
И, если можно, нас исправь. (I. 26.)

обращается Пушкин к другому поэту.

Чувствуя в себе этот дар, Пушкин рано, правда, шутя, требует свободы творчества:

Будь всякой при своем (там же).

Сознавая себя поэтом, Пушкин рано задумывается о поэтическом бессмертии:

Мои летучие посланья
В потомстве будут ли цвести? (I. 51.)

сомневается в нем:

Мне ль бессмертьем льститься. (I. 31.)

надеется на него:

С моей, быть может, тенью
Полунощной порой
Сын Феба молодой,
Мой правнук просвещенный
Беседовать придет
И мною вдохновенный,
На лире воздохнет. (I. 31.)

И это желание поэтического бессмертия, почти уверенность в нем сближает Пушкина-мальчика с Пушкиным позднейших лет более, чем какая-либо другая черта. (Интересно, между прочим, как понять слова программы 1831 г.: «14 г... мое тщеславие». Мне думается, Пушкин 1831 г. как раз вспоминал мечты о поэтическом бессмертии Пушкина-мальчика.)

Серьезностью отмечено и одно высказывание Пушкина-лицеиста на тему о нравственной связи человека и общества — «к Лицинию» 1815 г., где он рисует идеал человека и гражданина.

Но как Пушкин этого периода воспринимает жизнь вообще? В какой цвет окрашена она для него? Была ли она для Пушкина, как для другого, изображенного им впоследствии юного поэта, «заманчивой загадкой»? (Е. О. II гл. VII.)

Ответ отрицательный: жизнь зовет его, но «загадочного» в ней нет для Пушкина. Ему ясно: жизнь «милая» (I. 49), «беспечная» (I. 55), «сладкая» (I. 156); дни жизни — «золотые» (I. 47), «красные» (I. 55); жить — веселиться:

Веселиться мой закон (I. 23).
Веселье будь до гроба
Сопутник верный наш,
И пусть умрем мы оба
При стуке полных чаш,

говорит он в «Послании Пушкину» (1815 г. 4 мая). Даже мысль о том, что «все на свете скоротечно» (I. 73), вызывает только особенно интенсивное стремление к радостям жизни, как их понимал тогда Пушкин, стремление «пить и веселиться», «жизнью играть». (I. 127.) Самая смерть не страшна. Умереть, это значит

В мир волшебный наслажденья
На тихий берег вод забвенья
Веселой тенью полететь. (I. 55.)

Смерть придет тихо, как «в зимний вечер сладкой сон» (I. 49). И мысли о смерти только укрепляют в Пушкине уже отмеченное отношение к жизни.

Смертный, век твой привиденье,

а потому

Счастье резвое лови (I. 54)—

вот формула этого отношения.

Но Пушкин пережил волнение первого серьезного чувства, и жизнерадостные ноты заменились— правда, на время— другими. Он вдруг увидел, что жизнь может быть «унылой» (I. 101), «хладной» (I. 87), что она скоротечна (I. 105). Перед ним возникает вопрос:

Зачем же жизнь дана мне от богов (I. 84),

когда она

Печальный мрак ненастья (там же),

когда душа объята тоской (I. 94), когда «дышать уныньем мой удел» (I. 88).

Перед собой одну печаль я вижу!
Мне скучен мир; мне страшен дневный свет... (I. 105).

воскликает Пушкин. И ему кажется, что ему не мил сладкой жизни сон (I. 156), что он ненавидит радость (I. 105), что ему пора оставить круг смехов и харит (I. 125).

Но мрачный взгляд на будущее, ожидание и желание смерти — все это было не продолжительно. Проходит любовь, и снова слышится жизнерадостный призыв жить:

Умножайте шум и радость (I. 128)
 Давайте пить и веселиться,
 Давайте жизни играть (I. 127).
 Пусть остылой жизни чашу
 Тянет медленно другой;
 Мы ж утратим юность нашу
 Вместе с жизнью дорогой... (I. 158).

Но даже и в период этого временного пессимизма Пушкин не до конца остается мрачным. Нет, он умеет примириться и с несчастьем и признать его справедливым для себя, достигая в этом признании высоты истинно-философского — даже более — религиозного сознания:

Но что! стыжусь! Нет, ропот—униженье,
 Нет, праведно богов определенье—
 Ужель лишь мне не ведать ясных дней?
 Нет, и в слезах сокрыто наслажденье—
 И в жизни сей мне будет в утешенье:
 Мой скромный дар и счастье друзей. (I. 84.)

Эта мудрая покорность судьбе, вытекавшая из убеждения, что «все чередой идет определенной», укрепляет в юноше-Пушкине светлое настроение и в печали. Ибо это печаль души великой, «грусть души мощной и крепкой» (Белинский). Потому-то почти все элегии Пушкина оканчиваются бодрым аккордом. В этом отношении он определился уже в 1815 г.:

Увяла роза, дитя зари!
 Не говори: так вянет младость!
 Не говори: вот жизни радость!
 Цветку скажи: прости, жалею!
 И на лицею нам укажи. (I. 61.)

Одна элегия этого периода имеет для нас особый интерес. Это — «Я видел смерть...» (1816 г.). Элегия, написанная под влиянием любви к Бакуниной, заимствована у Парни. Содержание, как и у Парни, жалобы

на возлюбленную, предчувствие смерти, прощание с друзьями. Но есть в первоначальном тексте одна строка, которой у Парни мы не находим:

И вера тихая меня не утешала.

Не делая никаких предположений о точном значении этих слов (они могут означать и отсутствие веры и наличие веры, не приносившей утешения), мы отметим эту строку, как показатель того, что в момент написания стихотворения Пушкин подумал о вере. Во второй редакции (того же времени) приведенные слова изменены на «и жизнь меня не утешала». Поправка знаменательна. Здесь чувствуется Пушкин «земной, слишком земной». Интересны слова этой элегии:

Луча бессмертия не встретит
Последний взор моих очей...

Бессмертие, о котором здесь говорится, несомненно земное. О том же бессмертии говорит Пушкин в «Послании Илличевскому»:

Ах, ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей:
Бессмертие ль души моей,
Бессмертие ль своих творений. (I. 134.)

Итак, в этот период Пушкин больше всего думал о своем поэтическом призвании и о бессмертии имени своего на земле. Бессмертие души занимало его гораздо менее. Говоря о смерти, он называет ее «хладным», «вечным», «мертвым» (I. 112), «сладким» (I. 49) сном. Все это достаточно бессодержательные эпитеты. Об одном можно судить по ним — мысль о смерти не была для Пушкина мучительным вопросом.

Не пугай нас, милый друг,
Гроба близким новосельем.
Право, нам таким бездельем
Заниматься недосуг. (I. 158.)

— Так формулирует Пушкин свое отношение к смерти вскоре по окончании лицей. Не это ли и принимал Энгельгардт за «атеизм»

Пушкина-лиценста, давая о нем свой известный отзыв: «Его сердце холодно и пусто; в нем нет ни любви, ни религии; может быть оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце?»

Отношение Пушкина к церкви, ее служителям и обрядам отмечено в этот период небрежностью, бравированием. Бравату эту мы видим в «Бове»:

Прочитала скорым шопотом
(То, что в век не мог я выучить)
Отче наш и Богородицу.

Или в стихотворении «Огаревой»: «Митрополит, хвостун бесстыдный!..», в стихотворении «Городок» (I. 31):

Служителей твоих,
Попов я городских
Боюсь, боюсь беседы
И свадебны обеды
Затем лишь не терплю,
Что сельских переев,
Как папа иудеев,
Я вовсе не люблю.

Но нелюбовь к духовенству вполне может быть и у человека, положительно относящегося к религии. То же можно сказать и про «вольтерьянскую» терминологию.

Итак, вот Пушкин лицейского периода: отношение к обрядам отрицательное, бравирование этим; думает иногда о вере, но скорее не имеет ее, чем наоборот; думает о бессмертии, но больше о земном, чем о небесном; любит больше всего жизнь эту, ее радости; серьезнее всего относится к поэзии и своему поэтическому призванию¹⁾.

¹⁾ Мы оставляем совершенно в стороне стихотворение «Безверие» (1817 г.), как холодное, «сухое и дидактическое» (Гаевский), по общему признанию и прежде всего — самого Пушкина, который, напечатав его в «Трудах Общ. Люб. Росс. Словесности» 1817 г., более его не перепечатывал. Но, соглашаясь также с В. Брюсовым, что в этом стихотворении есть и подлинно живые, художественные места, отметим для дальнейшего один весьма интересный и, может быть, знаменательный стих заключительный во второй строфе:

Ум ищет Божества, а сердце не находит.

II

Весной 1817 г. Пушкин окончил лицей. Это дало ему возможность в жизни осуществлять то, о чем он раньше мечтал в стихах. И он отдается этой жизни, которая одновременно так «однообразна и пестра» (Е. О. I. XXXVI). Он так «любил... шум и толпу». (1824 г. 19—XI. Михайловское. Воспоминания о времени окончания Лицея. — Сочинения, V, 415.) Он был захвачен жизнью этого «безумного круга». «На разные забавы я много жизни погубил», говорил он позже (Е. О. I. XXX).

Отношение к жизни то же, что и ранее. Так же мелькает иногда мысль, что жизнь скоротечна, что «младость не приходит вновь» (I. 194). Но мысль эта, как и ранее, вызывает стремление взять от жизни что можно, не теряя немногих дней, данных нам:

Мгновенно жизни будь послушен,
Будь молод в юности твоей. (Там же).

Послания к друзьям этого периода — варианты этого мотива. В «Руслан и Людмила» эта жажда жизни, любовь к ней нашли самое полное выражение (Н. Котляревский).

Но такая жизнь требовала слишком много душевных сил. Невозможно было даже Пушкину вынести эту постоянную «игру страстей». И Пушкин переживает моменты, когда «порыв страстей» сменяет жажда покоя:

Позволь душе моей открыться пред тобою
И в дружбе сладостной отраду почерпнуть.
Скучая жизнью, томимый суетою,
Я жажду близ тебя, друг нежный, отдохнуть. (II. 212.)

У него вырываются слова недовольства жизнью:

Я мало жил и наслаждался мало! —
И дней моих печальное начало
Наскучило, давно постыло мне! —
К чему мне жить. Я не рожден для счастья... (Там же.)

или:

. . . мои златые годы,
 Безумства жар, веселость, острота,
 Любовь стихов, любовь моей свободы
 Проходит все, как легкая мечта.
 Так иногда за чашей ликования
 Найдешь меня объятого тоской,
 Задумчивым, с поникшей головой... (II. 225.)

В такие минуты Пушкин сомневается в своем даре, ему кажется, что «скрылась» от него «на век богиня тихих песнопений».

Но и из этих элегических отрывков видно только недовольство своей жизнью, а не жизнью вообще. И эти элегические отрывки свидетельствуют об оптимизме. И фразы: «златые годы... проходят», «К чему мне жить. Я не рожден для счастья», — не менее, чем о разочарованности, усталости, говорят об уверенности, что цель жизни — счастье, что молодость — златые годы. И разве не знаменательно, что элегии эти — только черновые наброски, неоконченные и очевидно забытые? Не показывает ли это, что настроение, в них вылившееся, было непродолжительно и скоро сменялось другим? И подлинного Пушкина этого периода мы видим не в элегиях, а в словах подобных обращенным к Толстому:

До капли наслажденье пей,
 Живи беспечен, равнодушен!
 Мгновенно жизни будь послушен,
 Будь молод в юности твоей! (I. 194.)

Последнее законченное произведение этого периода прекрасно выражает это стремление к полноте переживаний:

Мне бой знаком, — люблю я звук мечей,
 От первых лет поклонник бранной славы
 Люблю войны кровавые забавы,
 И смерти мысль мила душе моей.
 Во цвете лет свободы верный воин
 Перед собой кто смерти не видал,
 Тот полного веселья не вкушал... (II. 229.)

Мила не смерть, но игра со смертью, самое интенсивное наслаждение, наслаждение опасностью, что Пушкин так хорошо выразил через десять лет, но что чувствовал уже в это время.

В этом периоде нет произведений на религиозные темы. Но в письмах к друзьям находим образцы прежнего легкомысленного отношения к религии, умышленно небрежного тона. Таково употребление терминов религии для обозначения совсем не религиозных предметов — «библия» для Руссelle Вольтера (II. 161) (см. еще «Послание к Щербинину», выражение «Вашего Христа» (А. Тургеневу, 1819 г.), упоминание рядом «Христос и верный Купидон» (II. 161).

III

Ссылка на юг — первое действительно серьезное событие в жизни Пушкина. Это не то, что выход из лицея и переезд из Царского Села в Петербург. Пушкин — «в азиатском заточении» (Тургеневу, 1 — XII — 23). Он — «один в пустынной для него Молдавии» (брату, Кишинев 24 — IX — 20). Он пишет, «не слыша ни оживительных советов, ни похвал, ни порицаний» (Гнедичу, 27 — VI — 22 г. Кишинев). И он жалуется: «Здесь у нас молдованно и тошно» («му же»); «Я барахтаюсь в грязи молдавской, чорт знает, когда выкарабкаюсь» (Вяземскому, конец декабря 22 г. — начало января 23 г.). «У нас скучно и холодно» (Вяземскому, 14 — X — 23 г.); «Мне скучно, милый Асмодей» («му же, 19 — VIII — 23); «У меня хандра» (25 — VIII — 23, брату); «Часто бываю подвержен так называемой хандре... В эти минуты я зол на целый свет, и никакая поэзия не шевелит моего сердца» (Плетневу, X — XI — 22 г.); «До моей пустыни не доходит ни один дружеский голос» (брату, 24 — I — 22 г.).

В поэзии Пушкина появляются «усталые слова»: «Я пережил свои желанья» (II. 260), «все скучно мне»:

Красы Лаис, заветные пиры
И клики радости безумной,
И мирных Муз минутные дары —
И лепетанье славы шумной
(Все скучно мне) — разоблачив кумир,
Я вижу призрак безобразной... (II. 310.)

Разоблачив пленительный кумир,
Я вижу. (II. 364.)

Свой недавний оптимизм он объясняет молодостью и самообманом:

Любил я (жизнь) и славу и любовь
И многому я в жизни верил.
(Когда еще кипела в сердце кровь
И сам с собой я лицемерил.) (II. 310.)

Теперь этого нет:

... все прошло. Остыла в сердце кровь;
В их наготе я ныне вижу
И свет, и жизнь, и дружбу, и любовь,
(Угрюмый) опыт ненавижу.

Свою печать утратил резвый нрав,
Душа час от часу немеет.
В ней чувств уж нет. Так легкий лист дубрав
В ключах Кавказских каменеет. (II. 364.)

Теперь жизнь представляется телегой, которую гонит равнодушное ко всему время. (II. 377.)

Мысль обращается к смерти,

Жду, придет ли мой конец. (II. 58.)

Смерть представляется полным исчезновением:

И все умрет со мной: надежды юных дней,
Священный сердца жар, к высокому стремленье,
Воспоминание и брата и друзей,
И мыслей творческих напрасное волненье. (II. 278.)

Увы, среди толпы затерянный певец,
Безвестен буду я для новых поколений:
И, жертва темная, умрет мой слабый гений
С печальной жизнью, с минутною молвой!.. (II. 279.)

Но Пушкин не хочет примириться с этим:

Без неприметного следа
 Мне было б грустно мир оставить.
 Живу, пишу не для похвал;
 Но я бы кажется желал
 Печальный жребий свой прославить,
 Чтоб обо мне, как верный друг,
 Напомнил хоть единый звук. (Е. О. II гл. XXXIX.)

В этих словах — желание бессмертия земного. Но интересует ли Пушкина вопрос о бессмертии загробном?

В знаменитом письме Вяземскому (март 1824 г. Одесса) Пушкин говорит: «...беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он исписал листов 1000, чтобы доказать qu'il ne peut exister d'être intelligent Créateur et régulateur — мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души». Правительство Александра I ни мало не усомнилось и сослало за это письмо Пушкина в Михайловское. Но эти данные только сотая часть того, что при желании можно было привлечь для обвинения Пушкина в атеизме.

Разве не об атеизме свидетельствуют такие факты, как упоминание рядом Феба и Казанской Богоматери (Гнедичу, 24—III—21), стихи «Христос Воскрес, моя Ревекка» (II, 268), пародия на молитву Ефрема Сирина: «желаю ему в Париже духа целомудрия; в канцелярии духа смиренномудрия и терпения. Об духе любви не беспокоюсь: в этом нуждаться не будет...» (Дельвигу, 1821 г.)? Присоединим к этому стихотворную пародию на десятую заповедь, которая приписывается Пушкину (Добра чужого не желать, II, 296). В «Послании к Давыдову» о смерти митрополита Гавриила Банулеско-Бодони Пушкин говорит:

На этих днях тиран собора
 Митрополит, седой обжора,
 Перед обедом невзначай
 Велел жить долго всей России... ¹⁾
 Пошел христосоваться в рай.

¹⁾ Восстанавливаем зачеркнутый в рукописи, но сохранившийся в современных списках стих: «И с сыном птички и Марии»... *Ред.*

Я стал умен, и лицемерю —
 Пошусь, молюсь и твердо верю,
 Что Бог простит мои грехи —
 Как государь мой стихи.

. . . намедни —

Я променял (Вольтера) бредни
 И лиру, грешный дар судьбы,
 На часослов и на обедни,
 Да на сушеные грибы.
 Однакож гордый мой рассудок
 (Меня порядочно) бранит,
 А мой ненабожный желудок
 Причастья вовсе не варит.

.....

..Хоть например лафит
 Иль Кю-д-Вужо тогда ни слова;
 А то — подумать так смешно —
 С водой молдавское вино. (II. 265).

Но все это бледнеет перед тем кощунством, какое представляет собою знаменитая «Гавриилиада». Сделайся она известной в то время, и не миновать бы Пушкину поездки уже не в Михайловское, но

Прямо, прямо на восток.

Но согласимся ли мы с александровскими жандармами и признаем ли вслед за ними атеистом Пушкина, автора всех этих кощунственных писем и стихотворений и прежде всего конечно «Гавриилиады»? Нам кажется, что произведение, подобное «Гавриилиаде», было бы психологически вполне понятно у человека, которого мучат вопросы религии, который борется между утверждением и отрицанием. Но можно ли сказать, что у Пушкина мы находим произведение, равное «Гавриилиаде», но только со знаком плюс, а не минус? А не значит ли это, что перед нами не отрицание Бога, религии, но какой-то совершенный индифферентизм не к христианству уже, но вообще к религии?

Но почему религиозный индифферентизм приводил к «Гавриилиаде»? Ответа на этот вопрос надо искать, как нам кажется, в политике.

Борьба с Богом была во Франции XVIII в. лишь одним из этапов борьбы со старым порядком. Крушение его было немислимо до тех пор, пока не разрушена была его историческая опора, католическая церковь. «Пушкин-француз» не мог не воспринять в числе прочих идей просвещения также и этой.

Переписка его с друзьями подтверждает такое предположение. В письме Тургеневу (черновое, XII — 23 г.) Пушкин называет Христа «умеренным демократом» — обращает внимание прежде всего на социально-политическую сторону христианства.

Осмеяв правительство в своих Noë'ax, воспев «святую Вольность», кинжал Занда и деву-Эвмениду, Пушкин не мог не чувствовать, что собственно политическая часть его миссии, как певца освобождения, в значительной мере закончена. Но за вычетом узко-политической оставалась еще другая не менее благодарная задача, к которой он притом был подготовлен уже как нельзя лучше своими французскими учителями: подорвать в глазах общества авторитет не только светской, но и духовной власти (вспомним, что зачатки тона, в котором написана «Гавриилиада», восходят к лицейскому периоду — «Бова». См. примечание С. Венгерова, т. I). И не вина Пушкина, что он вложил в это дело столько сил и подлинного таланта.

«Гавриилиада» далеко превосходит все, что сказано было Пушкиным до тех пор в области политической. Но это в значительной степени объясняется личной заинтересованностью, которая должна была примешиваться у Пушкина ко всем прочим мотивам со времени ссылки на юг.

Если забыть на минуту, что этот период жизни Пушкина был подневольным, то все жалобы его на скуку жизни представляются совершенно непонятными. Новая земля, новые люди. Богатство впечатлений, для поэта в особенности необходимое. Откуда же эта скука, хандра, даже мизантропия? Единственное объяснение — сознание Пушкиным своей несвободы. Проклятие произвола, помрачившее всякую радость, отравлявшее всякое наслаждение. В результате — «Гавриилиада», как мечь, самоосвобождение в творчестве. Правительству Александра I, не менее, чем самому Пушкину, обязаны мы тем, что имеем «Гавриилиаду».

Но как Вольтер, самое имя которого стало символом безбожия, не был безбожником, так и динизм певца «Гавриилиады» не отрицает

Бога. Правильнее всего было бы видеть здесь величайший индифферентизм к вопросам религии. Это подтверждается помимо всех высказанных соображений еще тем, что Пушкин в то же самое время находил совсем иные слова для столь поносимой им церкви. В исторических заметках о царствовании Екатерины Второй мы читаем: «В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических... Оно всегда было посредником между народом и государем, как между человеком и Божеством. Мы обязаны монахам нашей историей, следовательно и просвещением» (1822 г. IV. 859). Екатерина унизила духовенство, сделала его бедным и невежественным. «Бедность и невежество этих людей, необходимых в государстве (курсив наш, Е. К.), их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важною своею должностью. От сего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии... Может быть нигде более, как между нашим простым народом, не слышно насмешек насчетъ всего церковного. Жаль, ибо греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер». Итак, Пушкин свое положительное отношение к православной греческой церкви обосновывает ее историческим значением, ее просветительной миссией, которая, по его мнению, не закончилась и по сие время.

Это убеждение разума находит себе соответствие и в его поэтических настроениях. Наряду с повествованием о чернецах царя Додова мы имеем —

На тихих берегах Москвы
 Церквей венчанные крестами
 Сидят ветхие главы
 Над монастырскими стенами ;
 Кругом простерлись на холмах
 Во век не рубленные роды,
 Издавна почивали там
 Угодников святые мощи... (II, 356).

Пушкин во власти поэтической красоты описываемого. Сравним описание уголка Марии в «Бахчисарайском Фонтане»:

Лампады свет уединенный,
 Кивот, печально озаренный,
 Пречистой Девы кроткий лик,
 И Крест, любви символ священной. (II. 370.)

Если мы обратимся к письмам этого периода, то придется признать, что в них отразилось скорее отрицательное, чем положительное отношение к христианству. Но при всем том мы замечаем у Пушкина положительно вкус к библейским образам и выражениям. Библию Пушкин знал. Это можно утверждать не потому, что мы имеем признания: «Я знаю Закон Божий» (брату, 25 — VIII — 23). Или «Я слишком с библией знаком» (Вигелю, XI — 23 г.). Нет, доказательства этого знакомства мы имеем на каждом шагу. Но нужно заметить, что почти всегда Пушкин пользуется этим знанием библии для какой-нибудь более или менее остроумной шутки. Примеры. Вот высказывания серьезного характера. «Читаю библию... Святой дух иногда мне по сердцу» (Вяземскому, III — 24 г.). Пушкин «...желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность» (ему же, 4 — 11 — XI — 23 г.), понимая под этим выражением противоположность «жеманству и французской утонченности». «На днях я... обратился к евангельскому источнику, произнес (сию)... притчу в подражание басне Иисусовой» (черновое Тургеневу, 1 — XII — 23 г.). Далее мы имеем что-то похожее на пародию стиха «На реках Вавилонских» (черновое Тургеневу, VII — 21 г.): «В лето 5 от Липецкого потопа [превосходительный Реин и превосходительный] жалобный сверчок [сидя] на лужиче (луже) города Кишинева [ской], именуемой Быком сидели и плакали вспоминая тебя [о] Арзамас [Иерусалим ума и вкуса]». «Жду не дождусь появления в свет ваших стихов; только их получу, заколю агнца, восхваляю Господа и украшу цветами свой шалаш» (Дельвигу, 16 — XI — 23 г.). «Посылаю лобзание не яко Иуда-Арзамасец, но яко разбойник-романтик» (брату, 13 — VI — 24). «Повторяю тебе перед евангелием и святым причастием, что Дмитриев... не должен иметь более весу чем Херасков или... В. Л.» (Вяземскому, IV — 24 г.). «Мужайся, дай ответ скорей, как говорит Бог Иова или Ломоносова» (Бестужеву, 29 — VI — 24 г.). В письме Вяземскому (IX — 22 г.) имеем фразу: «почитая мщение одной из первых христианских добродетелей...» Ему же (VI — 24 г.) Пушкин говорит про оппозицию русскую, составившуюся, благодаря Русскому Богу из наших писа-

телей». «Готов христосоваться с тобой стихами, но сделай милость... пощади» (Бестужеву, 12—I—24 г.) Следующие отрывки, как нам кажется, по настроению (бравата) стоят совсем близко к таким стихам, как «послание к Давыдову»: «Ты помнишь Пушкина... который отрезвил тебя в страстную пятницу и проводил тебя в церковь те... Дирекции да помолишься Господу Богу и насмотришься на госпожу Овошникову» (Всеволожскому, VI—24 г.). «Скажи ему [Всеволожскому] что я... помню вечера его, любезность его, V. C. P. его, L. D. его, Овошникову его, Лампу его и всего, елико друга моего?» (брату, 27—VI—21).

Слова «Бог», «Христос» встречаются довольно часто в письмах. «Пусть утешит тебя Бог за то, что ты меня утешил» (Вяземскому, 6—II—23 г.) «Поздравляю тебя с рожд. Сп. Наш. Гос. И. Х.» (Вяземскому, 20—XII—23 г.) Обращаясь с просьбой, Пушкин прибавляет «ради Христа».

Но был ли совершенно равнодушен Пушкин также и к тем вопросам бытия, которые непосредственно связаны с религиозной жизнью, решение которых у верующего определяется его религиозными взглядами?

Мы знаем, что Пушкина в это время «к размышлению влекло» (Е. О. III—XVI), его мог занимать «метафизич., философск. и политич.» разговор с Пестелем (V т. № 1001). Его интересовали вопросы морали, о которых он говорил с Раевским (письмо Раевскому, X—23 г.). Словом он сам хотел

Истолковать... все творенье
И разгадать добро и зло.

Но как он это делал?

Ненадолго он стал байронистом. Но байроническое решение, проникнутое духом сомнения и отрицания, не могло удовлетворить его. Демон, олицетворение этого духа байронизма,

... звал прекрасное мечтою
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел. (II. 371.)

Но Пушкину достаточно было испытать сочувственное переживание маленькому существу, птичке, получившей свободу, чтобы забыть эти противоречия, чтобы он «стал доступен утешенью» (II, 139). Здесь важно все: и то, что так легко достигается Пушкиным это примирение, и то, что оно происходит не на какой-либо почве, но на почве свободы. Мы здесь возвращаемся к тому, что было сказано ранее: сознание себя несвободным определило отношение Пушкина к правительству и вместе с ним — к церкви. То же сознание определило отношение Пушкина и к «вечным противоречиям сущности». Что примирение достигается Пушкиным так легко, это нас не должно удивлять. Ведь, ему вообще было не свойственно углубляться в мировые тайны, тайны потустороннего. Вспомним его «Люблю ваш сумрак неизвестный» (Ефремов, VIII. 182).

Здесь как будто Пушкин подходит к этому потустороннему. Но как? Он «не верует» в полное исчезновение по смерти. Это чуждо мысли человека. Тем самым мы как будто имеем признание бессмертия. Но признание это вытекает из уверенности, что «образ милой» не может не сохраниться вечно в душе. Это похоже почти на шутку. Но это очень хорошо характеризует, насколько Пушкин был весь земной, насколько чужд он намека на мистицизм.

И если мы попытаемся во всех высказываниях Пушкина в этот период выделить то, что не вызвано посторонними религии мотивами, то должно, кажется, признать, что для Пушкина его отношение к религии не выяснилось. И мы склонны более серьезно принимать слова, сказанные в виде шутки: «желаю ей... счастья на земле, умалчивая о небесах, о которых не получил еще достаточных сведений» (Вигелю, XI — 23 г.). Сведений, т.-е. сознательно выработанного отношения, у него действительно нет — вот, как кажется, итог периода, который Пушкин называл «старостью своей молодости» (Дельвигу, 23 — III — 21.)

IV

9 августа 1824 г. Пушкин приехал «в тень лесов Тригорских, в далекий северный уезд» (Е. О. VIII. XXX).

Период жизни в Михайловском, где он «провел изгнанником ¹⁾ два года незаметных» (IV, 768) мало отличается от предыдущего.

¹⁾ М. Гофман. «Посмертные стихотворения Пушкина 1833 — 36 г.г.». «Пушкин и его современники», XXXIII — XXXV, стр. 392. *Ред.*

По-прежнему Пушкин был вдали от центра умственной жизни, от своих друзей. Положение даже ухудшилось: вспомним свободу, какой он пользовался у Инзова, и тройной надзор, под который попал в Михайловском.

Надзор отца особенно был тяжел. «Чем далее живу, тем более стыжусь, что доселе не имею духа исполнить пророческую весть, что разнеслась недавно обо мне [и еще не застрелился]. Глупо час от часу далее вязнуть в жизненной грязи» — писал Пушкин Жуковскому под впечатлением этого отцовского надзора (29—XI—24 г.). Когда семья уехала, Пушкин вздохнул свободнее и стал находить, что жизнь в Михайловском лучше, чем в Одессе... «Четыре месяца, как нахожусь я в глухой деревне... Здесь нет ни моря, ни голубого неба, ни Итальянской оперы, ни вас, друзья мои. Но зато нет ни саранчи, ни милордов Уоронцовых. Уединение мое совершенно, праздность торжественна. Соседей около меня мало. Я знаком только с одним семейством и то вижу его довольно редко». (XII—24 г. Черновое М. Княжевичу.)

Но продолжительное «совершенное уединение» не могло быть привлекательно для Пушкина. Он всегда «любил... шум и толпу». Мы опять встречаем в его письмах жалобы на скуку, одиночество. «О моем житье ничего тебе не скажу. Скучно вот и все» (Вяземскому, 10—X—24.). «Votre douce amitié me console de bien de chagrins et seule a pu calmer la rage de l'ennui qui consume ma sottise existance» (Вяземской, X—24 г.). «Скука смертная везде» (брату, XI—24 г.). «Михайловское душно для меня» (V—VI—25 г. Жуковскому). «Ennui» (А. Н. Вульф, 21—VII—25 г.). «Je meurs d'ennui» (Керн, 25—VII—25 г.). «Je suis très isolé» (Н. Н. Раевскому VII—VIII—25 г.). «Кюхельбекерно» (Жуковскому 17—VIII—25 г.). «У нас очень дождик шумит, ветер шумит, лес шумит, шумно, а скучно» (Плетневу, VIII—25 г.). «Скучно мочи нет» (ему же, I—26 г.). «У меня хандра, и нет ни единой мысли в голове» (Вяземскому, 7—IV—25 г.). «...!Скука холодная муза» (Вяземской, X—24 г.). «Скучно да делать нечего» (Княжевичу. Cit). «Тебе скучно в Петербурге, а мне скучно в деревне. Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа» (Рылееву, V—25 г.). В последних словах уже слышится примирение, вернее подчинение судьбе: что протестовать против скуки своей жизни, когда «вся тварь разумная скучает» (II,

417). «Не сердись на нее [Судьбу. Е. К.], не ведает бо, что творит. Представь себе ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь? Не ты, не я, никто. Делать нечего, так и говорить нечего» (Вяземскому, V—26 г.). Если «от судеб защиты нет, то и не надо защищаться». Мы видим, как прав был Жуковский: «Мне до духа твоего дела нет. Он жив и будет жив, ибо весьма живущ», писал он Пушкину, обеспокоенный слухом об его аневризме, в сентябре 1825 г.

В Михайловский период Пушкин становится в творчестве скудее на лирические откровения, он переходит к эпосу. Не потому ли это было, что в своей личной жизни в это время Пушкин находил слишком мало светлых моментов, а делать предметом творчества одни отрицательные стороны жизни было ему не свойственно. В произведениях эпических нашло себе выражение светлое мировоззрение Пушкина. В «Борисе Годунове» идея — рок, стоящий над человеком, не слепой, но исполненный высшей справедливости. Орудием ее является народ. Он наказывает Бориса. Он же осуждает молчаливым приговором убийцу его невинного сына. Носителем этой справедливости является и Пимен, который на Бориса «донос ужасный пишет», передает его преступление на суд потомства.

В «Цыганах» эта высшая правда воплощена в образе старого цыгана, который «учит Алеко какой-то свободной и возвышенно-кроткой религии» (В. Иванов), хотя и не произносит при этом имени Бога.

Подобное убеждение в существовании высшей справедливости связано в сознании человека религиозного с идеей Бога. Но как у Пушкина? В Михайловском написаны «Подражания Корану». В них Пушкин дал «образ Бога, поставленного над всеми исповеданиями» (Н. Котляревский). О могуществе этого Бога говорят стихи IV и V подражания, об его могуществе, благодати и любви стихи IX. Это он требует полной милостыни в VIII.

Стихи I подражания:

Люби сирот и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй, —

говоря о ничтожестве твари, содержат в то же время требование: пусть тварь дрожит (Страхов. Статьи о Пушкине, 1867 г.). Здесь еще

есть специфический оттенок: это — Аллах или Иегова. Но вот III подражание:

...Почто ж кичится человек?⁹
 За то ль, что наг на свет явился,
 Что дышит он недолгий век,
 Что слаб умрет, как слаб родился?

За то ль, что Бог и умертвит,
 И воскресит его по воле?¹
 Что с неба дни его хранит
 И в радостях, и в горькой доле?...

Это Бог — уже не только Бог корана.

Стих. «Пророк» интересно мыслью о близости пророка — поэта Богу. Понятым становится эпитет «вдохновенья» в другом месте — «признак Бога» (II, 388). Отметим мысль Пушкина, что в эти минуты поэт поднимается до чувствования мировой жизни.

Но во всем этом перед нами Пушкин — поэт, не религиозный человек. Здесь еще раз приходится отметить любовь Пушкина к образам, заимствованным у религии.

В это время Пушкин более, чем раньше, интересуется священным писанием. «Библию, библию!» пишет он брату (XI — 24 г.). В другом письме (брату, 4 и 10 — XII — 24 г.) просит библию, «которая для христианина то же, что история для народа». Делает ссылку на апостола Павла (Дельвигу, 26 г.). Из библии заимствовано стихотворение «Вертоград моей сестры», оттуда же эпитет Овидия: «Имел он... голос, шуму вод подобный». Это — эпитет Иеговы. И не из библии ли образ птички Божией — полная аналогия евангельским «птицам небесным».

В письмах Пушкин упоминает, как и ранее, имя Христа, обращаясь с просьбой (№ 101, 117, 140, 144, 151). Поздравляет с Его Рождеством (брату, XII — 24.). Говорит, что не умрет: Бог не захочет, чтоб Годунов с ним уничтожился (Жуковскому, 6 — X — 25 г.).

Но едва ли во всем этом можно видеть что-либо, кроме одних слов. Чувства под ними не слышится. И едва ли не нечто от себя дал Пушкин самозванцу, когда характеризовал его, как человека «indifferent à la religion», который отказывается от своей веры по *причинам* политическим (Н. Н., Раевскому, 30 — I — 24 г.). Отношение

самого Пушкина к религии, как мы видели в предыдущем периоде, тоже определилось причинами политическими.

Отношение к обрядам то же, что и раньше. Об этом свидетельствуют небрежные фразы: «няня исполнила твою комиссию, ездила в Св. Горы и отправила панихиду или что было нужно» (сестре, 4—XII—24 г.). «А вот важное: тетка умерла. Еду завтра в Святые Горы и везу отпеть молебен или панихиду, смотря по тому, что дешевле» (XI—24 брату). Тот же смысл и в панихиде Пушкина по Байроне.

Н. О. Лернер (в статье «Новооткрытые страницы Пушкина» — «Северные записки» 1913 г. кн. II) говорит: «не кощунственна была та панихида, которую заказал он деревенскому попу «За упокой раба Божия боярина Георгия». Этим поступком, как впоследствии статьей о Байроне, наш поэт обнаружил истинное хранилище своих помыслов... Не знаем, можно ли делать такой вывод из данного факта. Сам Пушкин после панихиды писал Вяземскому: «нынче день смерти, и я заказал с вечера обедню за упокой его души. Мой поп удивился моей набожности и вручил мне просвиру, вынутую за упокой раба Божия Боярина Георгия. Отсылаю ее тебе» (7—IV—25 г.). Если бы это было серьезно, зачем бы Пушкину писать об этом и отсылать просфору?.. И еще более — зачем писать так, как мы находим в письме брату: «я заказал обедню за упокой души Байрона (сегодня день его смерти). А. Н. также и в обеих церквях Тригорск. и Вер. происходили молебствия. Это немножко напоминает la messe de Frédéric II pour le repos de l'âme de M-r de Voltaire» (1825 г. курсив мой Е. К.) В письме Вяземскому (9—XI—26 г.) читаем: «[у няни] попы дерут молебны и мешают мне заниматься».

Подведем итоги.

В Михайловский период Пушкин стал серьезнее и глубже относиться к религии. Нельзя сказать, чтобы он становился верующим, но он перестал смешивать в одно Христа и церковное христианство. Относясь по-прежнему отрицательно ко второму, он не позволяет себе ни одной насмешки над Христом. Даже и касаясь предметов и лиц, имеющих отношение к религии, Пушкин, когда он серьезен, не проявляет прежней бравады — образ патриарха (хотя, говоря о нем же через несколько лет, он опять не удержался от давно привычного тона: «j'en fait un sot par distraction» (Н. Н. Раевскому, 30—I—29). Пушкин признал, что был атеистом: «Покойный император, сослав

меня, мог... упрекнуть меня в безверии» (Жуковскому, I—26 г.). «Покойный император в 1824 г. сослал меня в деревню за две строчки нерелигиозные—других художеств за собою не знаю» (I—26 г. Плетневу). «Его В-во, исключив меня из службы, приказал сослать в деревню за письмо, писанное года три тому назад, в котором находилось суждение об афеизме, суждение легкомысленное, достойное всякого порицания» (7—III—26 г. Жуковскому).

Но, хотя Пушкин и назвал по совету Жуковского (все письмо повторяет слова Жуковского, переданные Плетневым в письме 27—II—26 г.) свои прежние суждения легкомысленными, достойными всякого порицания, но и теперь не отрекается от них. Он только не хочет выставлять их, как ранее... «Каков бы ни был мой образ мыслей политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен противоречить общепринятому порядку и необходимости» (там же).

V

8 сентября 1826 г. Пушкин неожиданно быстро переносится в Москву, и для него наступает период скитаний. Он не привязан к одному месту. Если подсчитать все его переезды, то получится солидное число верст, сделанных им. Но где бы ни был Пушкин, в Москве или Михайловском, Петербурге или Грузии, Болдине или Эрзеруме, есть нечто в его положении, уравнивающее все различия. Это нечто—зависимость. Положение Пушкина—лишь положение свободного узника.

Пушкин почувствовал это очень скоро. После первого столкновения с Бенкендорфом он писал Вяземскому: «меня доезжают» (I—XII—26 г.). Тогда же Соболевскому: «Мне уже (очень мило, очень учтиво) вымыли голову» (I—XII—26 г.). Более или менее варьируясь, продолжалось это и далее. «Сношения мои с правительством подобны весенней погоде: поминутно то дождь, то солнце» (А. Н. Гончарову, 9—IX—30 г.). Но теперь сознание этой зависимости не вызывает такого протеста, как раньше. Продолжительная ссылка, годы смирили Пушкина, который по темпераменту своему и всегда был не революционером, но человеком мирным. «Я человек мирный» (Дельвигу,

1826 г. Михайловское). Зато в творчестве этого периода наблюдается особое развитие элегических мотивов.

В элегии «Три ключа» (V, 502) Пушкин серьезно, как никогда, говорит о смерти. И его слова о ней, об этом ключе забвенья, который «слаще всех жар сердца утолит», и еще более слова о жизни, о «степи мирской, печальной и безбрежной», — так далеки от прежних элегий, как скорбь взрослого глубже легкой грусти юноши. Прежде и среди разочарований Пушкин не забывал, что жизнь прекрасна, что она — «золотые дни, золотые ночи» (I, 363), и только ему «дышать уныньем» (I, 88) назначила судьба. Теперь разочарование в своей жизни вызывает пессимистические мысли о жизни вообще, и она представляется, как «дар напрасный, дар случайный» (II, 533), а человек — изгнанником «в степи мирской печальной и безбрежной» (II, 502), которого «рок завистливый» (II, 494) осудил на «жизни холод» (Е. О. 8, X). В этих элегиях («Три Ключа», «Дар напрасный»), Пушкин доходит до подлинного пессимизма.

Другим источником элегических мотивов является недовольство собой, «змеи сердечной угрызенья» (II, 531), совесть — «когтистый зверь, скребущий сердце, . . . нежданный гость, докучный собеседник» (III, 644)¹). Таковы элегии: «Воспоминание в Царском селе» 1829 г. (III, 601), «Воспоминание» (II, 531), «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» (III, 646).

Две последние пьесы изображают переживания ночью, когда человек остается один с самим собой, со своей совестью. Пушкин говорит:

В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;

Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает святок:

¹) Вопрос о совести, мучающей человека за прошлое, занимал Пушкина. В целом ряде произведений затронут он: в «Братья разбойники», «Цыганы» (Алеко), «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Русалка» и «Утопленник».

И, с отвращением читая жизнь мою,
 Я трепещу и проклиная,
 И горько жаждуясь, и горько слезы лью,
 Но строк печальных не смываю. (II, 531.)

И это «роптанье» своей «души» (Е. О. II, IX) Пушкин переносит во вне. Ему кажется, что кто-то среди безмолвия ночи, нарушаемого однообразным ходом часов, укоряет его, и у него вырывается вопрос:

Парки бабье лепетанье,
 Спящей ночи трепетанье,
 Жизни мышья беготня—
 Что тревожишь ты меня?
 Что ты значишь, скучный шопот?
 Укоризну или ропот
 Мною утраченного дня?
 От меня чего ты хочешь? (III, 646.)

... Достаточно известна любовь Пушкина к Лицею. Где бы ни был Пушкин, он неизменно обращался мыслью к тем дням, «когда в садах лица» он «безмятежно расцветал» (Е. О. 8, I):

... долго я блуждал и часто утомленный,
 Раскаяньем горя, предчувствуя беды,
 Я думал о тебе, приют благословенный,
 Воображал спи сады.

Воображал сей день счастливый,
 Когда среди них возник лицей,
 И слышал... снова шум игривый,
 И видел вновь семью друзей. (III. 601.)

Характерны в этих воспоминаниях эпитеты «безмятежный» (Е. О.), «игривый» шум, «приют благословенный» («Воспоминания в Ц. С.»). Мысль о лицее была всегда для Пушкина радостью и отдохновением.

Но когда после долгого времени Пушкин не мысленно только, но в действительности посетил «сады прекрасные», это потрясло его.

Приход этот показался Пушкину возвращением блудного сына: исполнил его не радостным, но глубоко горестным чувством:

Вспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой!

Так отрок Библии — безумный расточитель —
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев, наконец, родимую обитель,
Главой поник и зарыдал (III. 601).

Так зарыдал позднее сам Пушкин на своей последней лицейской годовщине, не докончив начатого стихотворения.

Элегия «Безумных лет угасшее веселье» (III. 82) более походит на прежние элегии Пушкина: здесь он не дает грусти овладеть собою вполне. Творчество и любовь примиряют его с жизнью:

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Примирение через творчество заключается не только в одном непосредственном наслаждении вымыслом. Творчество заставляет поэта забывать об окружающем:

Твой привычный милый лепет
Усмирял сердечный трепет,
Усыпая мою печаль!
Ты ласкалась, ты манила,
И от мира уводила
В очарованную даль! (II. 566.)

говорит Пушкин о рифме (1829 год).

И забываю мир и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем (III. 637).

Минуты творчества «дают (поэту)... знать сердечную глубину»:

В могуществе и немощах —
Они любить, лелеять научают
Не смертные, таинственные чувства,
И нас они науке первой учат —
Чтить самого себя. (III. 611.)

Последнее важно, необходимо: «...независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы» (статья о Вольтере, V, 981.).

О примирении через красоту говорил Пушкин в 1827 г. (Ангел — П, 494, связанный внутренне с Демоном). Созерцание красоты доставляет Пушкину переживание торжественного благоговения: он смотрит «благоговей богомольно перед святыней красоты» (III, 179).

Здесь уже и любовь.

Она заставляет Пушкина забыть пессимистические мысли. Если теперь он и переживает минуты печали, то это печаль «светлая», почти радостная:

• Мне грустно и легко; печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой!... (III, 576.)

Надежда Пушкина, что его «закат» увенчается любовью, осуществилась:

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец. (III, 626.)

Но в результате к одной зависимости — от правительства — только прибавилась другая.

Женитьба заставила Пушкина делать многое, бессмысленность, пошлость чего он сам прекрасно видел. Она еще более увеличила его зависимость и от правительства, заставив его приблизиться к Двору.

Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины.
В глуши звучнее голос лирной,
Живее творческие сны (Е. О. I. LV).

говорил о себе Пушкин еще в I главе «Евгения Онегина».

Благословляя новоселье друга, ожидающий его «свободный труд и сладкий мир» (III, 661), Пушкин высказывает вместе с тем и свое заветное желание, осуществление которого, мнилось ему, уже близко. А вместо этого приходилось, надев почти неприличный в его возрасте камер-юнкерский мундир, посещать придворные балы, купаться в этом «омуте».

Среди бездушных гордецов,
 Среди блистательных глупцов,
 Среди лукавых, малодушных,
 Шальных, балованных детей,
 Злодеев и смешных и скучных,
 Тупых, привязчивых судей,
 Среди кокеток богомольных,
 Среди холопов добровольных,
 Среди вседневных модных сцен,
 Учтивых ласковых измен,
 Среди холодных приговоров
 Жестокосердой суеты,
 Среди досадной пустоты
 Расчетов, дум и разговоров.

(Е. О. 6, XLVI—XLVII.)

Он — поэт, которому, как «ветру, и орлу и сердцу девы нет закона» (III, 728), который «не спросясь ни у кого, как Дездемона, выбирает кумир для сердца своего» (IV, 773) — он не свободен.

«Настоящее место писателя есть его ученый кабинет... независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы» (V, 981), говорит Пушкин в статье о Вольтере (1836 г.). Но Пушкин мог только мечтать о такой «обители дальней» (IV, 788), где бы он мог

... никому

Ответа не давать; себе лишь самому
 Служить и угождать (IV, 779).

Дождаться этого ему не пришлось.

Замечательно, что, несмотря на удары судьбы, Пушкин в этот период исполнен бодрости:

О, нет, мне жизнь не надоела;
 Я жить хочу, я жизнь люблю. (III, 618.)

Причина этого в том, что Пушкин «возмужал» (IV, 789).

Для него это означало перенесение центра тяжести от «частного» к «общему», выражаясь в терминах Белинского. В частном, в личной жизни, неудачи не смущают Пушкина. Он к ним был готов: «Будущность является мне не на розах, но в строгой нагоде своей.

Горести не удивят меня. Они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью» (Кривцову, 10—II—31). Неудачи личные не заслоняют интереса к общему, к человеческому. Еще ранее, в 1829 г., Пушкин среди мыслей о смерти находил утешение в вечности сменяющейся жизни, в том, что

...у гробового входа
Младая будет жизнь играть. (III, 603.)

Теперь Пушкин широко затронут «общим»: «Горюхино» и «Станционный смотритель», издание газеты, исторические труды, «Капитанская дочка», «Медный всадник» — тому свидетели. И подводя итог своей жизни, Пушкин основывает свои права на поэтическое бессмертие на том, что «чувства добрые» он «лирой пробуждал»¹⁾.

Пред лицом этого бессмертия сама смерть не страшна. Загробный мир по-прежнему — «тайна, сердцу непонятный мрак»:

Умереть! Итти неведомо куда ... (III, 730).

Пушкин и не пытается проникнуть в загробную тайну и ищет утешения здесь на земле. Найдя его для себя в будущем поэтическом бессмертии, он уже не печалится и о том, что

...на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья
.....
Восходят, зреют и падут. (Е. О. II, XXXVIII.)

Такова судьба всего живущего. Человек не исключение, а правило:

Не сетуйте, таков судьбы закон:
Вращается весь мир вокруг человека,
Ужель недвижим будет он. (IV, 785.)

Нужно только понять это, чтобы перестать протестовать. И Пушкин говорит: «не сетуйте!» Поняв, не будешь задавать вопроса: «Жизнь, зачем ты мне дана?» (II, 533.) Жизнь дана, чтобы жить. Счастлив человек, который просто живет:

¹⁾ См. С. Венгеров. «Последний завет Пушкина», т. V, стр. 45.

...Счастливы́й человек,
Для жизни ты живешь... (III, 575.)

Жизнь эта не покажется «даром напрасным» — «бесценный дар она» (IV, 767). В ней все хорошо по одному тому, что это — жизнь. Смерть, стоящая рядом, только увеличивает ценность жизни. (Песнь председателя «Пира во время чумы», «Египетские ночи».)

В сравнении со смертью, жизнь даже

... в болезни, в нищете
в печалах, в старости, в неволе будет раем. (III, 730.)

Даже безумие не пугает поэта. Только бы не заперли его (вот чего больше всего боится Пушкин!), пустили на волю:

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных чудных грез.
И я б заслушивался волн
И я глядел бы счастья полн,
В пустыне небеса (III, 737.)

Отметим в этом отрывке последние строки. Они замечательны. Мы видим Пушкина в один из моментов, когда он «счастья полн», примирен с миром. Тут обнаруживается громадная разница между Пушкиным и такими подлинно религиозными душами, как Лермонтов. Последний в минуту примиренья говорит:

Тогда смирятся души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога.

Пушкин может повторить это, но без последних слов. Для него небеса «пусты».

Только один раз увидел он в них Бога, когда, проезжая мимо Казбека, был поражен зрелищем монастыря, «который, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками» («Путешествие в Арзрум»). И у него нашлись иные слова:

Туда б, сказав прости ущелью,
 Подняться к вольной вышине!
 Туда б в заоблачную келью
 В соседство Бога скрыться мне! (III, 586.)

В этот период Пушкин особенно часто обращается к священному писанию, находит в Библии образы для своих произведений. Таков образ библейского блудного сына в «Воспоминание в Царском Селе» 1829 г. Из Библии заимствован отрывок «Когда владыка Ассирийский» (IV, 769). Самое прекрасное произведение из навеянных христианством — переложение молитвы Ефрема Сирина (IV, 780), (пародированной Пушкиным в письме Дельвигу 1821 г. (см. выше).

Протестантизм дал Пушкину стихотворение «Странник» (1834 г. из Бёньяна). Стремление бежать от мира было в то самое время и у самого Пушкина, и очень сильное. Только он мечтал о нем, как поэт:

Давно, усталый раб, замыслил я побег
 В обитель дальнюю трудов и чистых нег. (IV, 788.)

Следует обратить внимание на приписку, набрасывающую дальнейшую программу стихотворения: «юность не имеет нужды в at home; зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу. Тогда удались он домой. О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню? Поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь etc. Религия, смерть» (VI, 500, прим. № 788).

Характерно, может быть, что точно неволью для себя Пушкин подошел здесь к мысли о «религии». Как будто его поэтическое бегство от мира есть в то же время и выполнение какой-то религиозной обязанности. Нельзя не сопоставить с этим стремления Странника скорее узреть «спасенья узкий путь и тесные врата», стремления уже чисто религиозного. Появление этой пьесы у Пушкина, перевод или, вернее, пересоздание ее трудно объяснить одним только интересом художника.

Все эти произведения несомненно свидетельствуют не только об интересе к форме священного писания, к его красоте, но и к духу его. Пушкин действительно приблизился к христианству, он задумывает образ сознательного христианина — Галуб.

Обратим внимание, каким тоном говорит теперь Пушкин, касаясь предметов церковной религии: эпитеты Богородицы: «Мария

Дева», «Матерь Господа Христа» (IV, 36), «Дева Пресвятая» (III, 665). Эпитеты Бога: «Бог Сил», «Всевышний Царь» (IV, 769), «Вечный Творец» (II, 508), «Отец миров» (Е. О. гл. VIII, стр. IV). Об обрядах: «святой обряд он хочет править, он архипастыря зовет» (III, 570-а).

Произведение «Когда великое свершалось торжество» (IV, 777) — яркий свидетель того, что под конец жизни Пушкин относился к внешней религии далеко не так, как ранее. Чувство, заставившее его написать это стихотворение, — чувство возмущения кощунством, каким являются часовые около распятия.

Интересны изменения, какие внес Пушкин в «Песни западных славян»: он опустил упоминание о крестном знамении в начале второй песни, так как там говорится, что это крестное знамение не дало облегчения Елене. Пропустил фразу о заклятии Вурдалака именем Христа, потому что Вурдалак является опять после этого. И оба эти факта говорили как бы о бессилии крестного знамени¹).

В прозаических заметках Пушкина этого периода много характерного.

Интересны слова Пушкина о французской философии, которая ему была «слишком известна», как он говорит (V, 975. Алекс. Радищев); слова о «жалких скептических умствованиях минувшего столетия» («Мнение М. Е. Лобанова о русской словесности», V, 980), о «холодном и сухом Гельвеции» (V, 975): «теперь было бы непонятно каким образом он мог сделаться любимцем молодых людей пылких и чувствительных, если бы по несчастью не знали, как соблазнительны для развивающихся умов мысли и правила новые, отвергаемые законом и преданием» (там же).

С осуждением относится Пушкин к «жалкому духу сомнения и отрицания, ... которые печалат людей истинно ученых и здравомыслящих» («Словарь о святых», V, 985). Этими словами Пушкин как бы отрекается от своего периода сомнения и отрицания. В этой же статье есть замечательное место: «другие мысли, столь же детские, другие мечты, столь же несбыточные, заменили мысли и мечты учеников Дидерота и Руссо, и легкомысленный поклонник молвы видит

¹) Пушкин, Сочинения под ред. С. А. Венгерова, т. III, стр. 393, статья М. Яцимирского.

в них опять и цель человечества и разрешение вечной загадки, не воображая, что в свою очередь они заменятся другими» (V, 337). Ярко рисуется по этим словам Пушкин с его тяготением к сущему и «возможному».

Суждений по вопросам, связанным с религией, много в прозаических заметках и письмах последнего периода.

Взгляд Пушкина на историческое значение христианства с определенностью высказан в словах программы 3-й статьи на историю Полевого (IV, 890, стр. 545). «Великий духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство... В этой великой стихии исчез и обновился мир» (Сравн. слова про «...крест, эту хоругвь Европы и просвещения». Примечания к рассказам Султана Казы-Гирея. V, 974, стр. 336). Слова эти напоминают слова Конисского о христианстве, выписанные Пушкиным, — о чуде из чудес — победе христианства над язычеством. (Из Конисского сделаны также выписки о душе, бессмертии, молитве, о необходимости сбросить с себя всю тяготу мирскую, о радости плотской и духовной, о наших молитвах, о необходимости веры, о грехе соблазна.) В заметке о сочинении Сильвио Пеллико Пушкин говорит об Евангелии: «такова... вечно новая прелесть этой книги, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие... Мало было избранных, даже между первоначальными пастырями церкви, которые бы в своих творениях приблизились кротостию духа, сладостию красноречия и младенческою простотою сердца к проповеди небесного учителя» (V, 984, стр. 369). И Пушкин мечтает об укрощении черкесов путем проповеди евангелия.

В письме Плетневу (6 апреля 1830 года) видим следы увлечения Пушкина житиями святых: «Присоветуй... [Жуковскому] читать Четьи-Миней, особенно легенды о киевских чудотворцах, прелесть простоты и вымысла». Пушкин делает выписки из житий в Ч.-Миней (V, 969, стр. 326), выписывает отдельные выражения.

Нужно подчеркнуть, что во всех этих заметках нет и намек на отношение Пушкина к религии. Он выступает здесь как поэт, как историк, но не как просто человек.

Некоторый материал дают письма. Но материал этот подчас трудно привести к единству. Так в 1830 г. перед женитьбой Пушкин

просит благословения родителей, прибавляя, что это не пустая формальность, а необходимо для его счастья. Но через год (31 г.) пишет Плетневу про обряд крещения, называя это «творить проделки». Как согласовать это? Что делает для Пушкина «необходимым» родительское благословение? Власть традиции или известное его суеверие?

Сомнение является и при чтении писем к жене.

17 апреля 1834 г. Пушкин пишет: «Вспомнил, что я хотел го-
веть, а между тем уже оскоромился». Или спрашивает: «Всякий ли ты
день молишься, стоя в углу?» (1834 г.). В другом говорит: «благодарю
тебя за то, что Богу молишься на коленях посреди комнаты. Я мало
Богу молюсь и надеюсь, что твоя чистая молитва лучше моих, как для
меня, так и для нас».

Нам кажется, что все это говорит только о религиозности Пушки-
ниной, не Пушкина.

Письма к жене пестрят словами: «да сохранит вас Бог», «благо-
словляю», «крещу», «Господь с Вами», «Христос с Вами». Это гово-
рится как будто серьезно. Но в то же время кажется, что чувства в
этом не более, чем в словах «прощайте», «будьте здоровы».

Отметим в письмах следы суеврия.

В 1832 г. 8—10 января, Пушкин пишет Нащокину, прося прислать
забытый у него опекунский билет, и прибавляет: «там выронил я
серебряную копеечку. Если ее найдешь, так и ее перешли. Ты их
щастию не веруешь, а я верю». Жене 1833 г. 14—IX, Симбирск:
«только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. Чорт
его побери, дорого бы дал я, чтобы его затравить». (Пушкину при-
шлось вернуться с дороги—приписал зайцу.) Жене в том же 1833 г.
2—X, Болдино: «Подъезжая к Болдину, у меня были самые мрачные
предчувствия, так что не нашед о тебе никакого известия, я почти
обрадовался». Жене 1835 г. 14—IX, Михайловское: «сегодня видел
я месяц с левой стороны и очень о тебе стал беспокоиться».

Мысль, что «суевренные приметы согласны с чувствами души»
(III, 571), очевидно основана на собственном опыте Пушкина.

Разнообразные настроения, отразившиеся в творчестве этого
периода, отражаются и в письмах. Правда, в них бледнее. Вот неко-
торые отрывки, заставляющие вспомнить элегии: «Моя семья умно-
жается, шумит около меня. Теперь кажется и на жизнь нечего роптать
и старости [смерти] нечего бояться» (исход октября 1835 г. Нащокину).

«Умрем и мы, но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья» (Плетневу, 22 — VII — 31 г.). — Разве это не полная параллель заключительной строфе элегии «Брожу ли я вдоль улиц шумных»?

Итак, вывод относительно последнего периода будет следующий: под влиянием недовольства окружающим и собой Пушкин создает ряд элегических произведений. В некоторых из них он доходит до подлинного пессимизма, но преодолевает его, примиряется с миром.

Этот мир души достается Пушкину с большим, чем ранее, трудом. Но зато он и глубже. Личные неудачи заслоняются для него «общим».

Отношение Пушкина к религии, к обрядам, как оно проявилось в поэзии, не носит никаких следов прежней бравады. По письмам нельзя сказать этого так категорически: в них нет бравады, но момент шутки есть. Сказанное касается отношения Пушкина к христианству, не к Богу.

Отношение Пушкина к Богу теперь не возмутило бы верующего. Но стал ли сам он верующим?

На этот вопрос по-прежнему отвечаем отрицательно.

Каков же окончательный вывод?

Пушкин рано стал взрослым. В свою недолгую жизнь он жил много. Как человек живой, яркий, он менялся, и действительно Пушкин-муж мог «со вздохом или с улыбкой отвергать мечты, волновавшие юношу»-Пушкина, но изменение его духовной физиономии было постепенное. Он не пережил никакого кризиса, «обращения». Это отсутствие скачков, внезапных переломов сказалось во всем. Так постепенно освобождался он от литературных влияний, творя одновременно произведения, навеянные Байроном, и чисто самостоятельные. Так и в религии, начав с «бравады», через «атеизм» Пушкин пришел в конце жизни к пониманию сущности христианства и его исторического значения. Но, называя Христа «Небесным учителем», Пушкин едва ли уверовал в него.

Принимая мир в лучшие свои минуты радостно и с открытой душой, Пушкин тем самым как бы обнаруживает уверенность, что в основе мира лежит добро и справедливость. Переживания Пушкина в

эти минуты могут быть сравниваемы с переживаниями истинно верующего. Но здесь только сходство, не тожество: нет свидетельств в творчестве Пушкина, что переживания эти связаны были для него с чувством близости Бога. У него «сердце материалиста» (*mon coeur est matérialiste*), а разумом познать «вечную загадку» нельзя. Хотя может быть разум этому и противится: «*mon coeur est matérialiste, mais ma raison s'y refuse*». Эти слова Пестеля о Пушкине, записанные им самим, находят параллель в признании самого Пушкина:

Ум ищет Божества, но сердце не находит.

Елена Кислицына.

1—14 апреля 1913 г.

ПУШКИНСКИЙ СБОРНИК

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА
СЕМЕНА АФАНАСЬЕВИЧА
ВЕНГЕРОВА

ПУШКИНИСТ IV

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Н. В. ЯКОВЛЕВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА • ПЕТРОГРАД

1922